

МАКЕИЧ

В общем вагоне тесно и душно. Проход заставлен сумками, узлами, корзинами... На каждой остановке, когда кто-то шёл к выходу, слышались незлая ругань, воркотня. Напротив меня – двое мужчин. Один уж старик, седой и сутулый, другому, рыжеусому, с живыми серыми глазами, не более сорока.

С рассветом всё чётче вырисовывались проплывавшие мимо поля, заросшие терновником буераки да редкие хутора, от которых даже сквозь вагонные окна просачивался запах осенних костров.

– А ведь не переживёт нонишнюю зиму озимь – навернётся, – глядя на неровную бледную зелень полей, говорил старик.

– Навернётся и навернётся... на то начальство есть, чтоб болеть... – равнодушно отвечал рыжеусый. – А то оно сразу неясно было, когда в сухие глудки сеяли...

– То так – неведомо чему соглашался старик.

От этого простого негромкого разговора незнакомых людей, от вагонной суеты и туманного рассвета в запотевшем окне веяло родной Дурновкой, где я когда-то родился и куда после долгих лет неприкаянной бродячей жизни возвращался. Той самой Дурновкой, которая в дальних краях снилась мне вьюжными ночами в яблоневом цвету, в птичьем щебете и с розовой дымкой заката, подолгу не угасающей за Барсучьей балкой.

Сейчас, неотрывно вглядываясь в мерно текущую равнину, я искал глазами знакомые приметы.

От долгого ожидания щемило в груди, тело моё ломало, и я с трудом сдерживал в себе желание выскочить из вагона и бежать впереди поезда.

К своим тридцати трём годам я всё ещё не обзавёлся семьёй, не имел своего дома и хотел наконец-то осесть и начать новую жизнь в родимом краю.

Единственный человек, которого я хорошо знал, помнил и любил и к которому сейчас ехал, – это мой двоюродный дядя, воспитывавший меня до семи лет, и от которого потом меня забрали в детдом.

Дядю моего называли в хуторе Макеичем, и я, вслед за всеми, тоже звал его Макеичем.

– Слухай, Макеич, – говорил я. – В лавку товар привезли.

– Ну?..

– Конфет целых два ящика!

– Так...

– Я у продавщихи просил, а она: «Заматюхнись, тогда дам...»

– Так за чем дело – матюхнулся б...

– С самого утра матюхаюсь. Она три штуки дала и всё.

Задумавшись, Макеич подолгу жуёт сигарку и наконец выскребает из кармана несколько медяков и, отдав их мне, говорит:

– Дуй!..

Жили мы в высоком рубленном доме под совковой, позеленевшей от времени черепицей. Кроме меня и Макеича жила в доме ещё бабка Фенька – дальняя родственница и полная хозяйка нашего дома.

Был Макеич инвалидом. Ещё в начале тридцатых годов, тринадцатилетним мальчишкой пас он колхозных коней; набегался, прилёг, взмыленный, на весеннюю парковую землю, да и заснул. Тогда и парализовало его. «Отхватило» Макеичу весь левый бок – ногу и руку, и когда он ходил, негнущееся туловище его попеременно поворачивалось то в одну, то в другую сторону.

С тех самых, не благополучных для Макеича тридцатых годов, работал он в бригаде дневным сторожем. Вообще-то бригада в стороже не нуждалась: кто позарится на сеялки, плуги, культиваторы, прочий ржавеющий инвентарь? Но бригадир всё же держал при бригаде Макеича, зачем-то выдумывая в нём нужду.

Макеича знали все. Знали его и в родной Дурновке, и в других хуторах. Знали его даже в районе. Не одно поколение выросло на его глазах; и почти всё районное начальство помнил и знал Макеич ещё по ребячьим кличкам или, как он сам говорил, «ещё беспартошными».

Правил субординации Макеич не признавал и поэтому общался с начальством запросто. Если уважал кого – называл по имени, иногда даже по отчеству, если испытывал неприязнь – не скрывал этого и мог обойтись и старой, всеми забытой кличкой. Макеичу всё сходило, и порой грозный начальник при встрече с ним вдруг начинал робеть.

Каждое утро, ещё затемно, Макеич будил меня и, усаживая в кровати, спрашивал:

– Митрий, на службу идёшь?

Оставаться на весь день с бабкой Фенькой и слушать её бесконечное ворчание мне не хотелось, и я, ещё не в силах раскрыть глаза, утвердительно кивал ему.

Взяв приготовленную старухой сумку с харчами, Макеич выходил на улицу, и я, чтобы не потеряться в потёмках, держался за полу его пиджака. В сумерках, спотыкаясь о сухие комья застывшей грязи, мы вихляли по разбитой дороге. В предутренней тишине ещё дремали хуторские собаки, но бесконечное сиплое похрипыванье молодых петухов предвещало скорый рассвет. Вот где-то скрипнула дверь, звякнул чей-то подошник, послышались голоса – кончилось ночное безмолвие.

В бригаду мы обычно приходили первыми, и если нас всё-таки кто-то опережал, Макеич был очень недоволен и вину за такое ЧП взваливал на меня.

– Молодёжь, вечером не укладёшь, утром не добудишься, – ворчал он, поглядывая в мою сторону и большими негнущимися пальцами левой руки сворачивал сигарку.

Так начинался у нас день. Скоро бригадный домик заполнялся людьми, махорочным дымом, множеством голосов, из которых нет-нет да и выплывало «крепкое» слово, и тогда бригадир Тихан, выразительно поглядывая на меня, кашлял.

Бойкое время наряда проходило быстро. Трактора уезжали в степь, и мы с Макеичем оставались одни. Пока Макеич перечитывал принесённые из дому газеты, я скучал.

Макеич прочитывал всё до последней строчки и тоже скучал. И тогда он начинал

рассуждать о политике, причём все его рассуждения начинались так: «Как думаешь, Митрий?..» Выяснив, как я думаю, Макеич вздыхал:

– Эхе-хе-хе-хе-хе, кто нынче в политике разбирается... Возьми хоть в пример агронома... или тебя. Ты, Митрий, в политике понимаешь? То-то. А раньше с этим строго было. Вспомни, Митрий, как при эмтээсе... При эмтээсе собирает Макрида бригаду и, прежде чем наряд дать, к политике приступает. При этом каждому вопрос даст. Вот, к примеру, Кочеток, – Макеич указывает на пустую лавку. – «Кто такой Будённый и какой пост занимает?» Ты, Митрий, знаешь, какой пост занимает Будённый? А Кочетков – тот знает и отвечает. Как положено, отвечает, по всем статьям. Тада Макрида Оведика спрашивает, – Макеич указывает на другую лавку. – «Скажи, Оведик, кто такой есть Ворошилов и что поручено ему нынче партией?» И Оведик отвечает. Были, конечно, и такие... – Макеич задумывается и указывает на пустующий в углу стул. – Вот, к примеру, Горшок – тот сроду книжки в руках не держал и если и выписывал какую газету, то для «нужды» лишь. Путного ответа Горшок никогда не давал. Вот Макрида его и спрашивает: «Скажи нам, Горшок, какой пост нынче поручен товарищу Молотову?» Горшок глаза выпучит и лупает в потолок А Федыка Саладун сзади него сидит и для веселья чё-нибудь приплетаёт ему тихонько. Макрида опять с тем же вопросом. Горшок помолчит-помолчит, поинёт в руках картуз, да и скажет, как ему Федыка нащёптывал: я, мол, точно знать не могу, какой пост товарищ Молотов занимает, но думаю, что устроился он там неплохо. А Макрида – в «мать» и кулаком о стол, и... на самый дальний участок Горшкову наряд. Дальний участок, бывало, за Горшком всегда оставался.

– А в сорок девятом году, – продолжал Макеич, – это уже как Макриду посадили (напутал чего-то в политике), в бригады Мишка Алябьев выдвинулся. Ребятня кличка – Сорока, с детства крикливый был. Его за глаза так Сорокой и звали. Был Сорока не то чтоб совсем дурак, но и не шибко умный. Любой спор глоткой брал. А глотка-то у него, Митрий, была!.. за эту глотку его и в бригады выпнули. Думали, раз глотка есть, значит, справится с руководством.

Пуше всего любил Сорока всякие бумаги подписывать. Что ни принесут – на всё свою руку наложит. Всё подпишет и в бумагу не глянет. Вот и сообразили ребята. Сочинили бумагу, а в ней: «Я, такой-то и такой-то, Мишка Алябьев, по прозвищу Сорока, заявляю, что являюсь форменным дураком и по этой причине объявляю в бригаде выходной. В чём и подписываюсь». Сунул Федыка ему эту бумагу. Он и подписал. На следующий день ребята её на самом видном месте вывесили. Вон там и прилепили, – Макеич указал костылём на серый деревянный щит, где обычно вывешивались объявления. – Народ гогочет, да не торопится наряд выполнять. Вот он, Сорока, прилетает: «Почему, мать-перемать, к работе не приступаете?» – «Да ты ж выходной объявил...» Ох, што тада было, Митрий!.. Три дня у Сороки глотка не остывала. Да-а...

А с пятьдесят второго бригаду уж Тихан принял. Ну Тихан, сам понимаешь, Митрий, мужик толковый, с головой. Тихан, я тебе скажу, ежели трошки подучится – председателем будет.

Почему Тихан «мужик толковый», я не понимал. Каждое утро, когда дело доходило до «крепких» слов, он выводил меня на улицу, и, указывая в сторону Барсучьей балки, говорил:

– Ну-ка, Митрий, видишь вон ту вербину? Сорочье гнездо на ней. Проверь, не нанесла она там яиц.

– Проверял уже, – упрямылся я, но Тихан уж прикрывал за мной дверь. Был Тихан

высокого роста, сухой. Офицерский китель подчёркивал армейскую выправку. Карие глаза его всё время поблёскивали, и было непонятно, когда он весел и когда зол.

.....

Дома я становился свидетелем каждодневных споров моего Макеича с бабкой Фенькой. А дело всё заключалось в том, что старуха решительно не хотела признавать в Макеиче работника и вообще чем-либо полезного человека.

– И за что ему только плотют? – ворчала она. – Он и задаром туда кажен день летал бы...

Макеич работой своей гордился, с подобным рассуждением мириться не мог и на правах мужика-добытчика ещё с порога повышал голос:

– Те-та-а! – кричал он, – Ну-кась, ставь живо воду, мне после службы умыться надо.

Старуха, поджав обиженно губы, нарочито не замечала его.

– Оглохла, что ли? – сердится Макеич. – Вот же холера старая... Нарочно, что ли, оглохла...

– Макеич, не матерись, – шептал я. – Она ж не глухая – всё слышит.

– Ну слышит... Для неё и говорю...

– Вот помру, – грозилась Фенька, – тада узнаешь... Такой работничек-то, чай, не каждому нужен. Сразу гонору поубавится.

Макеич же усаживал меня на колени и, ища во мне молчаливую поддержку, разговаривал только со мной.

– Ну вот прикинь, Митрий, – говорил он. – Семнадцать рублей мне плотят. Семнадцать! Как думаешь, зазря такие деньги раздаёт кто? То-то. Нужный в бригаде я человек, вот и плотят! Без меня, может, уже б и бригаду-то обобрали, а я вот... А ей, холере, разве устреляешь – упёрлась на своём и хочь што ей...

Единственный человек, с кем Макеич никогда не спорил, – это его отец, сутулый сухой старик. При отце Макеич не чтоб сквернословить – курить не смел. И когда бабка Фенька жаловалась на произвол Макеича, старик хмурился и, глядя на него из-под нависших бровей, говорил:

– Иван, это что же ты такое вытворяешь, а?

А Макеич, как мог, тянулся перед девяностолетним стариком и не смел оправдываться, ни глаз на него поднять.

– Он тебя что, лупит? – спрашивал я, когда мы оставались одни.

– С чего ты придумал? – смущался Макеич.

– А зачем тогда боишься его?

– Не боюсь. Почитаю.

Я всё смотрел в окно. Те же поля так же мелькали за стеклом, как и двадцать пять лет назад, когда меня по этой же дороге увозили в детдом.

«Как там сейчас мой Макеич? – думал я. – Постарел, наверное... А Феньки, пожалуй, и нет давно».

Тут моё внимание привлёк разговор моих попутчиков:

– Дело давнее... Ты тогда без штанов ещё бегал, – говорил старик молодому. – В году пятьдесят первом или втором вернулся домой Тихан Алимов, – звёзды во все погоны, три

«Славы» на груди – такого под ногтём не удержишь. Глянул, как мы тут коптимся, – заблестели глаза. Я, говорит, всё на свой лад поверну. Хватит нам голову морочить.

Мы Алимова в бригадиры, а начальство его невзлюбило. Как им любить такого: ему звонят – выезжай боронить, а он без спросу уже ячмени досевает; ему: приступай к севу пропашных, так как район отрапортовал уже. А он в степь выйдет, земельку помнёт в руках – нет, не время ещё. Ему рожь засеять велют, а он: «Осень сухая, не выйдет рожь». И весной яровыми засеет. И так всё по-своему, всё по-неписанному. Кому ж такое понравится? Взъелось на него всё начальство. Съехались всем районом и по этому поводу собрание назначают, с тем чтоб Алимова с бригадиров сковырнуть и дабы другим неповадно было дерзить – наказать примерно.

Заправлял всем этим делом Илья Коржов. Он в те годы исполкомом председательствовал. Пантелей Горевский – секретарь райкома, тоже приехал. Он, Пантелей-то, из наших, из дурновских родом. Его вроде и не ждали тогда, а он вне всякого плана явился.

– Да, в те годы случалось такое, – поддержал разговор ещё кто-то в вагоне. – Это сшас за месяц вперёд сопли утираем, как загодя знаем: кто, куда, когда и зачем припрётся...

– Вот началось собрание, – продолжал старик. – Всё, как надо, по намеченному графику идёт. Там уж наперёд всё известно: кто когда выступит и чего скажет. Лупцуют Алимова – места живого нет: и такой он, и растакой, и самоуправ... И чего только не городят.

Сидим, присмирели и только диву даёмся: какой-сякой у нас бригадир. Тогда не модно было в разговоры встревать. Так не так, самого не зымают, и слава Богу. Сиди тихонько, дуй в две дырки да помалкивай. Федька Саладун один лишь и препинался, но так как складно изъяснять умел на одних матюках, его быстренько и выпхали вон. А Коржов уж черту подводит: «В трудное, мол, время живём, товарищи. Враг не дремлет – всюду разруха и саботаж. То, что творит ваш Алимов, и есть саботаж против Советской власти, а за такое не только с бригадиров и с партии гнать, под суд!»

Тихо в зале, как вымерли. Тут на заднем ряду – громых! – стул упал. Глядь – Макеич к трибуне правится. Там:

«В чём дело?»

«Слово имею».

«Ты не записан».

«Так пишите».

«Нельзя, ты под регламент не подходишь».

А Горевский:

«Почему же нельзя? Давайте, товарищи, послушаем, что нам по этому вопросу рядовой колхозник скажет».

Повернулся Макеич к Коржову:

«Вот ты только что говорил здесь... Долго говорил, складно про саботаж и прочие козни, а мне всё хотелось спросить тебя, наш дорогой товарищ Коржов: скажи, а почему в этот, вроде б и неплохой год, рожь по району не дала?»

Тут из районного начальства как застучит кто-то карандашом:

«Прошу вопросы по существу!»

А Макеич смеётся ему:

«Не таракти. Мне тоже есть чем тарактеть, – палку показывает. – Я по сути и

спрашиваю. Только не схочет товарищ Коржов ответить нам. А потому не схочет, что всем наперёд известно было – не уродит рожь, и сам Коржов об этом знал – осень-то без дождя, в сухую землю сеять пришлось. Её б, ту земельку, до весны оставить, под ячмени пустить... Но не оставили, потому как ему, Коржову-то, план сверху пришёл, и от этого плану он никак отступить не может – не саботажник же. А там, наверху, планы те такие ж коржовы нам сочиняют. На бумаге всё складно в них порасписано, да только с Господом те планы не слажены. И выходит так: где в осень дождь на дожде лил, рожь не планировалась – под ячмени земли оставили, а там, где и оставить бы их, по этому плану рожь сеять вышло. Такая вот карусель...»

«Короче давай, короче!» – обрывают Makeича.

«Да уж куда короче. Один со здравым рассудком нашёлся, не пострашился ответ держать. Радовались мы: хоть не по плану, а ячмени уродились. И вот, дорадовались...»

Тут Коржов поднимается:

«Не нами план выдуман, не нам и отменять его. Не будет плана – не будет порядка. Представьте, если каждый засеять будет то, что ему вздумается».

«Если с умом будет вздумываться – не будет страна голодной, – отвечает Makeич. – Отцы наши без вожжей управлялись и полмира кормили».

Тут президиум как подпрыгнет:

«Это ты куда загибаешь?! Советская власть хозяйвами вас сделала».

«Мы, конечно же, хозяйва, – соглашается Makeич. – Хозяйва замка, да ключи не у нас».

– И что, послушались вашего Makeича? – спросил кто-то из попутчиков.

– Послушали, не послушали, а Тихана не сняли, – отвечал старик. – Горевский вступился. Выговором обошлось. Потом, конечно, подсидели да под одно бедствие и влупили на всю катушку. А тогда не посмели...

Обрадованный тем, что со мной едут мои земляки-хуторяне, я не мог удержать в себе желания заговорить с ними, и, ещё не зная, с чего начать разговор, спросил, скоро ли будет Дурновка.

– Х-х, Дурновка, а на что она тебе? – неожиданно спросил старик.

– То есть как на что? – растерялся я. – Жить, работать...

– Тогда тебе нужно в Степановку, – сказал рыжеусый. – Туда бригаду перевели. И правление тоже.

– А Дурновка?..

– А что Дурновка, за одиннадцать вёрст на работу бегать не будешь. Это одно, а второе: в Степановке квартиры дают, газ, вода... Вот и перебегли. Старики, конечно, выкобенивались, им что... Я вот своего еле перетянул. Тоже упирался. А теперь в ванне скушается: «Как это мы раньше под соломой жили? Сейчас как заново на свет народился».

– А Makeич? – спросил я. – Makeич в Дурновке остался?

– Makeич? – удивился рыжеусый. – Так нет Makeича. Уж лет десять, как умер.

– Да, так, – подтвердил старик. – Как бригаду в Степановку перекинули – затосковал без дела, запечалился, да в один год и помер.

Я совсем растерялся.

– Это ты, что ли, Митрий? – спросил вдруг старик.

– Митрий, – подтвердил я. – А вы откуда знаете?

– Знаю... Это ты уже всех позабыл. Makeич-то напоследок сгадывал про тебя. Вы,

говорит, Митрию отпишите... Да где тебя сыщешь?

Вскоре попутчики мои вышли, и передо мной проплыла Степановка. Широкие прямые улицы, асфальт, серые, не выделяющиеся друг перед другом, словно для смирения построенные по одному проекту, дома, редкая зелень и густой лес антенн, запах городской пыли...

Дурновка встретила меня узкими, заросшими татарником и полынью улочками, заброшенными, одичавшими садами, пустующими развалинами домов. Низкие обрывистые облака катились над мёртвым хутором; зазывая скорую непогоду, неровно галдели мечущиеся в вышине грачиные стаи.

Наш дом я узнал сразу, Он не успел ещё рухнуть, лишь только крыша осела и провалилась во многих местах. Сквозь густые заросли молодого караича и клёна я пробрался к крыльцу. В неживой тишине одиноко хлопала ставня да, играя распахнутой дверью, шелестел ветер.

Сбив пыльную паутину, я вошёл в дом. Низкие серые стены, маленькие комнатки, раньше казавшиеся мне большими, неровный земляной пол... В правом дальнем углу «на всходе» всё также висит помрачневший от наслоившейся грязи образ Божьей Матери-Заступницы, у которого, каждодневно отбивая поклоны, вымаливала прощения каких-то своих грехов бабка Фенька.

Каждый шаг гулким эхом отдаётся во мне. Неуклюже осеняя себя крестным знамением, снимаю икону. Сегодня это всё моё достояние.

В ближнем углу всё так же, как и прежде, стоял иссечённый ножами стол. Когда-то у этого стола мы посиживали с Макеичем на высокой широкой лавке.

– Макеич, расскажи чего-нибудь, – просил я.

– Вот расскажу тебе, Митрий случай... При моей памяти дело было, – начинал обычно Макеич.

Томя моё ожидание, он подолгу крутил сигарку, прикуривал, кашлял в рукав и уж затем рассказывал истории, которые приходили явно до его памяти, но в которые я верил.

Моя низкая кровать стояла всё там же, у печки, сейчас уже рухнувшей. Неожиданно из-под неё с шипом метнулась одинокая кошка, и я, уступая ей путь, отпрыгнул в сторону. Полумрак пустого дома угнетал меня. Мне стало казаться, что из чернеющих дыр потолка кто-то неотрывно следит за мной. Скрипнула дверь, прошуршали чьи-то шаги в коридоре. Я резко обернулся. Никого. Только ветер по комнатам. Мне стало жутко, и я, спрятав под свитер икону Заступницы, поспешил выйти на улицу. Ни голоса, ни петушиного крика, ни лая собак... Тишина. И только из густого кустарника, боясь показаться на глаза, пронзительно мяукала кошка. Когда-то так же обречённо кричал, утопая в колодце, наш жёлтый кот. Макеич пытался зачерпнуть его ведром. Это ему не удавалось, и тогда он матерился в полный голос и звал на помощь соседа Ивана Староскольцева.

– Иван... твою мать, – кричал он. – Пособи, Иван!

Сбежались люди.

– Кто?.. Что?.. Митька тонет?! – не разобравшись, кричали со всех сторон.

– Митька вот он, – приподнимал меня за шиворот и показывал каждому Макеич. – Кот погибает...

Все опускали головы в сруб и видели: действительно, кот.

Кота спасали всей улицей.

Сейчас сруб колодца рухнул, и там, где стоял он, густо толпился бурьян.

Я шёл хуторскими улочками, и в каждом пустующем доме, в каждой развалине виделись мне кусочки далёкого детства. Там, где высился заросший крейдяной холмик, стоял когда-то дом деда Масюры. Я узнал это место по ветрячку на сухой груше. Когда-то у этого дома стояла лавочка, и, возвращаясь домой, мы каждый день отыхали на ней с Макеичем, а дед Масюра выносил нам воды и обещал, что сделает мне самый звонкий ветряк на хуторе. А чуть дальше, в старом казачьем доме, размещался клуб.

– Кондрашей на Север угнали – вот и приспособили их курень, – просто объяснил мне происхождение клуба Макеич.

– А зачем их на Север? – спрашивал я.

– Х-х. Для того ж и спровадили, – непонятно усмехался Макеич.

Вечерами, едва лишь смеркалось и на краю хутора начинал постукивать дизель, зажигая в домах электрический свет, мы с Макеичем приходили сюда. В любой день в клубе было тесно и шумно. Махра подпирала потолок. Все с нетерпением ждали, когда удосужит явиться Пашка-завклуб: ему одному доверено включить первый в хуторе телевизор (остальные ж не то что включать – близко подходить к нему не решались, боялись повредить). Но вот начинал светиться экран, проступало нечёткое изображение, и все, словно впервые увидев чудо, замирали. Лишь изредка пронесётся шёпот: «Гля, гля – Москва!.. Надо ж – тысяча вёрст и как будто вот она...» Смотрели, затаив дыхание, всё подряд, без разбора. Потом, поздно вечером, Макеич будил меня, и мы правились к дому...

За клубом когда-то был огромный став. Дед Масюра поймал в нём пудового сазана и этим так зажёл хуторян, что вечерами у става бывало тесно. Зимой в выходные дни к нему стекалось полхутора. Все, усевшись на вербовые карчи, ждали, когда начнётся хоккейная баталия со степановцами. Перед матчем Васька Староскольцев, поигрывая клюшкой, обычно подкатывал к соперникам и, хищно сщурился глазами, то ль всерьёз, то ль в насмешку, говорил:

– Если выиграете – в торец получите. Ясно?

– Так не честно, Васька, – робко отзывались степановцы.

– Ха. Ну раз хотите по-честному, тогда так: проиграете – будем бить!

– Васька, мы так играть не будем, – роптали степановцы.

– Ну-ну, не будете, – хмурился Васька, и матч начинался.

Степановцев били редко, но держались они всегда напряжённо и оттого проигрывали.

Сейчас става не было. На его месте поднялись заросли ивняка, камыша да чахлой осоки. В центре гребли лёг широкий, никем не латаный овраг.

Я не заметил, как подошёл к развалинам небольшого дома. Здесь жил Тихан.

Больше всего я любил бывать в доме Тихана. Это только у него в доме жили одновременно и Тихан с женою Галькой, и девятеро ребятишек, которых все звали в хуторе Галькиными, и голуби, и четырёх козы. До сих пор удивляюсь, как только они умещались в этом домишке.

Тихан днями пропадал на работе, дом прохудился, и Галька часто жаловалась соседям:

– Тоже мне бригадир... В своём доме ладу не даст, а за бригаду взялся.

Когда же Тихан возвращался домой, зудела ему без умолку:

– Ты же власть, Тихан, кого тебе бояться? Завези матерьялу на дом. Никто ведь не укорит. Знают, как мы живём...

– Ну что ты мелешь, Галька? – устало отзывался Тихан. – Ежели бригадир в свой дом

хапать зачнёт, какой с других спрос будет? Нет, Галья, у нас в роду порядок такой: хоть гол, но прав, и я от него не отступлю.

– Ишь принципиальный какой, – плакала Галья. – На других поглядел бы – прут без зазору. Детей расплодил, а как до ума их вести, не знает...

Была у Тихана дочь Танечка. В третьем классе девчонка училась. Круглая отличница. Гордость Тихана. Мечтала Танечка учительницей стать и, когда я заходил в их домишко, радостно кричала:

– Митька, какой молодец, что пришёл! А мы в школу играем.

Я усаживался за стол, слюнявил карандаш и на сером клочке бумаги писал свои первые палочки.

А палочки те были неровными и падали не в ту сторону... А Танечка успокаивала меня, даже хвалила и своей тоненькой ручкой вела мою.

– Ну, Митрий, как наука? – насмешливо шурился Макеич, когда я возвращался домой.

– Арихметику сегодня учили, – с гордостью докладывал я.

– Ну?! И чего ж тебе Танюха там научила?

– Прибавлять и умножать рассказывала...

– «Умножать, прибавлять...» Эх, Митрий, не тому она навчает тебя. При Советской власти знаешь какая первая из наук? Отнять и разделить. Вот это наука!

– Дуралей старый, – ворчала сама себе бабка Фенька. – Вот дознает Коржов, чему он дитя воспитует...

Я стоял у развалин Тиханова дома, и только сейчас мне вспомнилось, как горел хутор. Была осень. Воздвиженье. Престол на Дурновке. Солнце, ветер, осенняя сушь... Пьяные весёлые толпы по хутору. Гармонь, песни с прибаутками... Ох, и славный самогон на Дурновке! Макеич и тот не стерпел – хлебнул стаканчик. Заблестели его глаза, запрядали черти в них; того и гляди: кинет сейчас Макеич костыль, пойдёт выплясывать под гармонь! Федька Саладун, тот вконец распоясался: сыплет матерными частушками, а как ещё ухватил пару стаканов, вовсе стыд потерял, на святое позарился:

Как в колхозе Ильича заездили мерина,

Целый месяц кишки жрали – поминали Ленина.

«Эх, Федька, Федька... Разве ж можно так богохульствовать! Пропал Федька! Пропал...»

И надо ж под такую музыку беде приключиться – вспыхнула нежданно солома у хутора. Шесть скирдов – всё, что заготовить сумели колхозом. Пьяные отрезвели. Трезвые в панику: «Ох, пропали, пропали!» Сухими ковылями надвигается на хутор огненная стена, трещит дреза, полыхают тёрны.

Дед Масюра забыл о своей хромоте, скачет молодым козлом к Терновой балке наперерез огню. Мечется на цепке его коровёнка, орёт сумасшедшим рёвом: «Выручай, хозяин. Погибаю!» Споткнулся Масюра, упал, пробежал на четвереньках, снова валится, нет уж сил, а огонь – вот он, накрыл коровёнку. Заметалась в пламени, заорала отчаянно, да тут же и умолкла. А ветер, словно взбесился на этот час – прёт на хутор, огонь снопьями разносит.

«Федька! – кричат. – Где Федька?.. Спасай, Федя, опаживай...»

А у Федьки уж третий ремень порвался – не заводится трактор. Четвёртый ремень намотал. Молчит, даже не матерится – признак крайней ярости. «Ну, Феденька... Ну!..» Затрещал наконец пускач, гуркнул мотор, тронулся трактор, тянет борозду по бровке огня. «Спасай, Федя... Спасай!..» Не удержать огня – перекинулся через борозду, катит на ферму.

Вот уж и трактора не видать. «Беги, Федя, беги!..» Но нет, упрямый дурак, не успел вырваться с жара – новую загонку начинает у фермы. В гуле, вихре, с новой силой накатили взбесившиеся огненные кони, объяли пламенем трактор... Чёрными клубами подлетел в небо дым... «Эй, Феденька-Федя, что ж ты с собой утворил...»

С кучкой смельчаков отсекает Тихан пламя от фермы, а в хуторе уж первая хата горит. Рухнул людской фронт – некому ферму спасать. Кличет Тихан людей на помощь, да где там. Когда свинью жарят – не до поросят ей. Каждый своим занят. У некоторых уж крыши загораться начали. Обливают люди дома свои водою, воздух ропотом правит: «Пропал хутор! Пропали мы все...» Вот и ферма уже горит. Тихан – амбары спасать. И амбары запылали... А по хутору скот обезумевший мечется, бабы голосят. По земле пепел катится... «Господи, за грехи всё за наши».

Пала бабка Фенька пред иконой:

– Прсвятая Заступница! Прости мне мои прегрешения...

И я, вспоминая в себе все свои подлости, послушно стал на колени. Даже Макеич и тот, уронивши костыль, молча клюнул сивой башкой.

Смилоствивилась Матерь Божия, простила нам все преступления: стих знойный ветер, зачах в зелёном садку огонь, не добрался до нашего дома.

Попробуй сыщи, кто виноват в беде. Но лишь огонь поутих, пошли по хутору догадки разные, и больше всего сходились на том, что «должно быть ребятня подпалила». А у кого в хуторе ребят больше? У Гальки. И дальше пошло: «Говорят, Галькины тож у скирдов шлялись...» Ну, а потом уже почти без сомнения заговорили: «Галькины, Галькины запалили».

Прискакал Тихан домой: конь взмыленный, шапка утеряна, чуб обгорел, лицо в волдырях... В руке Тихана арапник, кожаный. Никуда от него не скроешься. Притихли девятеро у сгоревшего сарая. Взвился арапник – ахнул выстрел по хутору. «Ах вы, сукины выродки... что же вы натворили...» А они лишь: «Папочка, – кричат, – миленький, родненький!..» А арапник по спинам у них гуляет. А у Староскольцевых псы воют... Саладуниха голос порвала – хрипит... И сама Галька уж умом тронулась, волосы на себе рвёт: «Что ж теперь будет, люди добрые... За что нам всё это...»

Бросил Тихан арапник, сел на землю у своего домишки, обхватил руками голову да как заплачет... В первый раз, наверное, заплакал – никогда плачущим не видали. Всю ночь плакал Тихан и утро плакал и даже тихонько выл... И был он худым и жалким.

Потом судили Тихана и дали ему восемь лет. И Макеич днями молчал в бригаде, а если и подавал голос, то лишь для того, чтоб заматериться. И я не понимал, почему он так зол.

«Где он сейчас, Тихан? Где она, Танечка, отличница круглая, гордость Тихана? – подумал я. – Сбылась ли её мечта?»

Я обошёл весь хутор. На заброшенном кладбище пытался найти могилку Макеича, но не знал никаких примет её. И, поправив подгнившие, повалившиеся кресты, я направился к станции.

По дороге меня догнал трактор. Рыжеусый недавний попутчик выскочил из кабины. От него уж пахло винцом, но на ногах он стоял крепко.

– Батя говорит: «Поезжай, забери Митьку, не ночевать же ему в Дурновке», – громко проговорил он и, подмигнув, указал на трактор. – Садись, отвезу в Степановку. Отдохнёшь, осмотришься у нас, потом в контору сходишь, устроишься...

– Да нет, передумал я.

– Куда ж ты теперь? – растерялся рыжеусый.

– Не знаю...

Помолчали.

– Ты, может, помнишь, где могилка Макеича? – спросил я.

Рыжеусый поморщился, вспоминая, потом мотнул головой.

– Не, не помню.

Ещё помолчали.

– А Федькину помнишь? – спросил я.

– Федькину? Это какого Федьки?

– Ну, Федька... тракторист тут когда-то был... Сгорел....

– Нет, не помню такого.

– Ладно, – сказал я. – Мне пора.

– А я... Я – Василь Староскольцев, – вдруг спохватился рыжеусый. – Помнишь?

– Нет, – зачем-то сказал я и зашагал к станции

– Может, тебя подвезти? – прокричал вслед мне Василь.

– Не надо, – не оборачиваясь, ответил я.

Был вечер. Солнце спеющей вишенкой катилось к горизонту. Всё так же, как и много лет назад, дымился розоватым туманом закат за Барсучьей балкой, так же замирала вечерняя степь, и так же чернели вербы вдали... И только что-то навсегда покидало меня.... Может быть, то, что в далёких краях вьюжными ночами снилось мне в яблоневом цвету и в щебете птиц...

Я шёл к станции и не знал, вернусь ли ещё в эти места...

И куда завезёт меня поезд....